

# РУССКО-ИТАЛЬЯНСКИЙ АРХИВ

Составители  
Даниэла Рицци и Андрей Шишкин

Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche  
Trento 1997

ТАТЬЯНА ЦИВЬЯН

“ОБРАЗ ИТАЛИИ” И “ОБРАЗ РОССИИ”  
В ПОСЛЕДНЕМ СТИХОТВОРЕНИИ БАРАТЫНСКОГО

«Беглец Италии, Жьячинто, дядька мой» остро ожил в памяти Баратынского в Неаполе, во время его первого и единственного путешествия в Италию. Ему, Giacinto Borghese, посвящено последнее стихотворение поэта *Дядьке-итальянцу*, написанное в первой половине июня 1844 года, за считанные дни до внезапной смерти. Заключительные, прощальные строки этого длинного, почти эпического стихотворения (8 строф, 128 строк) звучат автоэпитафией:

О, спи! безгрезно спи в пределах наших льдистых!  
Лелей по-своему твой [и мой. – Т.Ц.] подземельный сон,  
Наш бурнодышаний, полночный аквилон,  
Не хуже веюций забвением и покоем,  
Чем вздохи южные с душистым их упоем.

Стихотворение Баратынского является основой “русской биографии” Giacinto, которая может быть восстановлена по нему едва ли не с большей полнотой и точностью, чем по иным источникам. «Благодать нерусского надзора» длилась долго: по словам Баратынского, «друг другу не были мы чужды двадцать лет»; связь не оборвалась со смертью Жьячинто – память воспитанника продлила эту связь еще почти на столько же, а стихотворение закрепило ее, «наследовав несрочно».

Предположительно, Боргезе покинул родину

году в 801м. Когда французы пришли в Неаполь, Жьячинто возненавидел Бонапарта за приказ сдавать серебро [...] Он бежал из Италии с грузом свернутых холстов [...] Здесь он мыслил разбогатеть, ибо знал, по рассказам просвещенных людей, что в России ценят искусства. Он знал русских не понаслышке. Он видел русских, когда русская армия входила в Неаполь. Он видел их Суворова. На картинах Жьячинто прогорел [...] В Маре он обрел кров, семью, детей.<sup>1</sup>

Баратынский изложил биографию Жьячинто в некотором отношении, пожалуй, более сухо; он, во всяком случае, не говорит, что итальянец был привлечен тем, «что в России ценят искусства»:

Беглец Италии, Жьячинто, дядька мой,  
Янтарный виноград, лимон ее золотой  
Тревожно бросивший, корыстью уязвленный,  
И в край, суровый край, снегами покровенный,  
Приставший с выбором загадочных картин,  
Где что-то различал и видел ты один!

Потерпевший неудачу в своих коммерческих начинаниях, Боргезе, очевидно, попал в семью Баратынских в 1806 году, когда Баратынскому было шесть лет. Точная дата его смерти неизвестна; предположительно – вскоре после 1822-го года.<sup>2</sup> Воспоминания поэта о «дядьке-итальянце» – это воспоминания о собственном детстве, о жизни в деревне и в Москве, о семейных событиях, печальных и радостных, о расставаниях и встречах в родном доме, обо всем, что полюбивший «призревшую» его «семью» Жьячинто переживал как ее член:

Участник наших слез и праздников семейных,  
В дни траура главой седой ты поникал;  
Но ускорял шаги и членами дрожал,  
Как в утро зимнее, порой, с пределов света,  
Питомца твоего, недавнего корнета,

<sup>1</sup> А. М. Песков. *Баратынский. Истинная повесть*, М. 1990, с. 59.

<sup>2</sup> «Год смерти Боргезе неизвестен. В 1822, судя по письмам Софи, он был еще жив». (Песков, *Баратынский...*, ук. соч., с. 345).

К коленям матери кибитка принесет  
И скорбный взор ее минутно оживет...

Последующее событие – смерть Баратынского на родине своего воспитателя – показало провиденциальность этого “обращения назад”, к собственным началам, как бы подводящее итог жизни.

Стоит упомянуть, что Боргезе был принят в семью Баратынских в качестве “французского” гувернера, что звали его там *monsieur Bories* или г. Боргез и что общение шло по-французски,<sup>3</sup> ср. в письме от 23 февраля 1813 г.: «*Mon cher monsieur Bories, je vous remercie de toute mon âme pour votre lettre [...] Je veux le titre d'ami, c'est avec ce titre que nous nous sommes quittés [...]*». Неизвестно, насколько соприкасался Баратынский с итальянским языком (не только через Боргезе, но и через его московских соплеменников – «*ментора моего полуденных друзей*»),<sup>4</sup> но что “живой образ Италии” вложил в его душу именно Жьячинто, сомнений не вызывает.<sup>5</sup>

“Образ Италии” – таков ракурс и стихотворения Баратынского и (вслед за ним) нашего анализа. После известной в 10-е годы и получившей новую известность сейчас книги

<sup>3</sup> Ср. в письме Богдана Баратынского к брату (5 ноября 1806 года): «Бубишка ведет себя очень хорошо и учится весьма успешно, за что отнесите вы свою признательность г. Боргезу, который поистине того достоин [...] Я разговариваю с г. Боргезом посредством милого Бубишки, которому всегда приказываю мой разговор перевести. И так он старается исполнять мою просьбу и вместе приказание, так порядочно и с такой охотой переводит ему по-французски, а мне по-русски [...]» (цит. по: Песков, *Баратынский...*, ук. соч., с. 58).

<sup>4</sup> На знание итальянского может косвенно указывать транскрипция имени Боргезе “Жьячинто” (а не, например, “Джиачинто”). Как известно, в начале XIX в. и особенно в 10-е–20-е годы в дворянских семьях было распространено преподавание итальянского языка как второго (после французского); стоит упомянуть и об обязательном преподавании итальянского певцам (что сохранилось до наших дней).

<sup>5</sup> Норвежский исследователь творчества Баратынского оценивает роль Боргезе несколько противоречиво: «Как педагог Боргезе вряд ли отличался большими способностями. Зато он прекрасно сумел сообщить своему ученику те пристрастия, которыми сам был исполнен, – сумел заинтересовать его, возбудить в нем любовь к чтению. Поэтому Боргезе оказался хорошим воспитателем для Баратынского» (Гейр Хетсо. *Евгений Баратынский. Жизнь и творчество*, Oslo-Bergen-Tromsø 1973, с. 11). – Педагог плохой, а воспитатель хороший?

Муратова *Образы Италии* это название из риторической фигуры стало превращаться в термин; введение же в достаточно недавнее время концепта “петербургский текст” (ПТ, а за ним и другие “-ские тексты”) укрепило если не терминологичность, то во всяком случае клишированность этого обозначения.

В кругу этих понятий и этой терминологии мы собираемся говорить о “тексте Италии” (ТИ) и “тексте России” (ТР): символично, что они соединились в последнем стихотворении Баратынского. Введение в употребление этих терминов может показаться несколько преждевременным, потому что объем соответствующих понятий, строго говоря не определен: нет работы/работ, где (как по ПТ) были бы зафиксированы “грамматика” и “словарь” – сюжетов, мотивов, наконец, лексический состав постулируемых ТИ и ТР. Однако эти тексты существуют, мы безошибочно узнаем их, более того мы можем синтезировать их конкретные воплощения именно на основе “концепта” ТИ – и пример тому хотя бы итальянский цикл Комаровского, где описание Италии является не путевым дневником, а его имитацией: в Италии Комаровский не был, и это как бы “вышивка по готовому узору”, каким и является постоянно обновляющийся и постоянно остающийся равным самому себе *текст Италии*, увиденной иноземцами, в данном случае – русскими.<sup>6</sup>

В стихотворении Баратынского более сложная ситуация. Кем увиденна предстающая перед нами Италия, ее уроженцем или русским? К этому прибавляется и ТР, но кем увиденной России, ее уроженцем или иностранцем? Не есть ли и то, и другое отражение в чужом зеркале?

ТИ и ТР выделяются в стихотворении тем более легко, что они отчетливо противопоставлены друг другу и могут быть изображены в виде “образцовой таблицы оппозиций”, учитывающей прежде всего физико-географические характеристики обеих земель, т. е. их ландшафт, климат и флору:

---

<sup>6</sup> См. работу автора *К реценции Италии в русской поэзии начала века: Комаровский*, в сб.: *Италия и славянский мир*, М. 1990.

ИТАЛИЯ

РОССИЯ

ЛАНДШАФТ

/ Неаполь / пагорный /  
альпийские / молнии /  
навес иль грот  
пещера  
каскады  
земля вулканов, лава  
море  
берега

/ вотчина / степная  
овраг  
стени

КЛИМАТ

/ отчизна / знойная  
сладкий юг  
пламенные часы  
вздохи южные  
/ слава / солнечная  
зэфир

/ край / снегами покровенный  
морозы наших зим  
краткий летний жар  
/ утро / зимнее  
дыханье выюги  
пасмурный навес / метелью пол-  
года скрываемых небес  
пределы наши льдистые  
бурнодышаний полночный акви-  
лон  
прохладовейный

знойные / берега /

ФЛОРА

яштарный виноград  
лимон золотой  
зелень узорная, неувядаемая  
земля цветов  
розы  
мелезы  
тополи  
лозы  
мирты  
оливы

дубы прохладовейные  
тощие мхи  
древя иглистые

Противопоставление ожидаемо, почти клишировано; оно как бы лежит на поверхности (но от этого стихотворение не теряет в своей эмоционально-художественной напряженности): «высокая» горная Италия, «земля вулканов», противопоставлена «низкой», плоской России, земле «степей». Горный рельеф гораздо более проработан и разнообразен – даже пещеры, навесы, гроты, т. е. углубления, также являются элементами гор, подчеркивающими изрезанность/вырезанность земли; даже «амфитеатр дворцов», расположенный над «яркой пеленой лазоревых валов» (вид на Неаполь, очевидно снизу, от моря) – это своего рода «культурная гора». В противоположность этому «овраг», прерывающий русскую «степь» – как бы спуск вниз, дополнительно подчеркивающий общую характеристику пространственного положения России: внизу.

Характерно еще одно противопоставление Италии и России, которое на глубинном уровне оказывается объединением: *море/суша*, но суша, представленная степью, «сухопутным аналогом моря», как это показано в недавней работе В. Н. Топорова в связи с вопросом о «соотнесении моря и степи, об их – в известной степени – взаимозаменяемости и “синонимичности”, о “переживании” их как важной части интегрального жизненного опыта». <sup>7</sup>

Не менее отчетливо и ожидаемо климатическое противопоставление «сладкого» (что звучит явным переводом *dolce* в значении ‘приятный, ласковый, милый’ и под.) итальянского юга и «льдистого» русского севера: солнце, “пламенный” зной и теплый зефир там и морозы, выюги, метели, снега, лед, долгая зима и короткое лето и северный «бурнодышащий аквилон» здесь. И естественно, что в благодатном южном климате вся земля становится цветущим и плодоносящим садом. Здесь в игру вступает и значимое “цветочное” имя Жьячинто, т. е. ‘Гиацинт’: можно вспомнить, что в стихотворении 1821 г. *Я возвращуся к вам, поля моих отцов...* Жьячинто появляется в “ботаническом” окружении:

---

<sup>7</sup> В. Н. Топоров. О “поэтическом” комплексе моря и его психофизиологических основах, в сб.: *История культуры и поэтика*, М. 1994, с. 39 и *passim*.

А ты, мой старый друг, мой верный доброхот,  
Усердный пестун мой, ты, первый огород  
На отческих полях разведший в дни былые!  
Ты поведешь меня в сады свои густые,  
Деревьев и цветов расскажешь имена...

Сигнатура Италии – «земля вулканов и цветов», т. е. горы и обильная растительность. Сигнатура России – «степь» и скудная, связанная с холодом растительность: «прохладовейные дубы», «тощие мхи», и хвойные («иглистые») деревья.

Контраст по рельефу, климату, флоре подводит к другому контрасту – по цвету и свету:

ИТАЛИЯ

яштарный (виноград)  
золотой (лимон)  
лучезарный  
пламенный (часы)  
солнечный (слава)  
пурпуровый  
яркий  
лазоревый  
зелень

РОССИЯ

белый (снег, лед)  
пасмурный (небо)

Краски и жаркий блеск «лучезарной» Италии сверкают особенно ярко на фоне бесцветности и тусклости России, где над холодными, снежными, т. е. белыми, бескрайними полями нависает пасмурное небо. Оппозиция свет/тьма (день/ночь) – еще один способ подчеркивания географической противопоставленности Италии и России: юг/север = полуденный/полночный.

Наконец, особенно отчетливо выступает культурная роль Италии/Авзонии, представленной прежде всего хрестоматийно-знаменитыми именами и названиями:

Везувий, Колизей, грот Капри, храм Петра  
Имел ты на устах от утра до утра...



и к этому же другие «роскоши Италии»: «классический твой город», «Неаполь твой нагорный», «амфитеатр дворцов», «Цицеронов дом», грот Вергилия (упоминание о котором приводит к пространному отступлению об *Энеиде*, Энее и его путешествии во «мраки Тенара»), виллы «и Мария и Силль», сады (и реальные и метафорический «чудесный сад утех», открывшийся Энею) и так хорошо знакомые всем, кто побывал в Италии, проступающие из зелени древние, полуразрушенные изваяния («давно из божества разжалованный лик»).

«Отчизна тощих мхов» противопоставляет «отчизне лучезарной» лишь Москву, «столицу нашу древнюю» – эпизод, прерывающий деревенскую жизнь. Но и этот эпизод оказывается «итальянизированным»: Жьячинто, «вожатый» своего воспитанника по столице, знакомит его с тем, что сейчас было бы названо «итальянским землячеством»:

Всех макаронщиков узнал тогда я в ней,  
Ментора моего полуденных друзей...

Классическое (в частности и русское) представление Италии как райского – поэтического, художественного – сада и не менее классическая ностальгия по Италии доминирует у Баратынского в этом послании и поддерживается другими его стихотворениями, пронизанными мечтами об Италии –

[...] Авзонийский небосклон –  
Одуревленный, сладострастный,  
Где в кунцах, в портиках палат  
Октавы Тассовы звучат;  
Где в древних камнях боги живы [...]  
Где все холмы красноречивы...

(Княгине З. А. Волконской)

стремлением к Италии, надеждами –

Небо Италии, небо Торквата,  
Прах поэтический древнего Рима,  
Родина неги, славой объята,

Будешь ли некогда мною ты зрима?  
Рвется дуна, нетерпением объята,  
К гордым остаткам падшего Рима!..

*(Небо Италии, небо Торквата...)*

и, наконец, нетерпением, когда казавшееся невероятным сбывается:

Вижу Фетиду; мне жребий благой  
Емлет она из лазоревой урны:  
Завтра увижу я баши Ливурны,  
Завтра увижу Элизий земной!

*(Пироскаф)*

Мечта исполнилась, земной Элизий был увиден воочию, но за это была заплачена цена, указанная в столь популярном в и России речении: «vedere Napoli e morire». Впрочем, не того ли желал Баратынский, когда в этом, оказавшемся прощальным стихотворении писал:

И кто, бесчувственный, среди твоих красот  
Не жаждал в их раю обрести павес иль грот,  
Где б скрылся не на час, как эти полубоги,  
Здесь Лету пившие, чтоб креннуть для тревоги,  
Но чтоб незримо слить в бессмыслии златом  
Сон неги сладостной с последним вечным сном.

Итак, стихотворение было написано в Италии, увиденной воочию. И тем не менее перед нами не столько непосредственное описание Италии, сколько Италия, данная “в пересказе” (в буквальном и грамматическом – пересказ чужой речи – смысле),<sup>8</sup> “образ Италии” для России, с точки зрения России, в контексте России. Иными словами, в стихотворении Баратынского предстает “русское клише” Италии, сложив-

---

<sup>8</sup> Ср. постоянное подчеркивание этого пересказа: «имел ты на устах», «именовал ты нам», «по твоим словам», «ты не забыл», «живые твои речи», «помня сладкий юг».

шеется уже давно,<sup>9</sup> но здесь верифицированное и одушевленное свидетельством очевидца, строго говоря, ничего, кроме “эффекта присутствия”, к уже известному не прибавившего.

Этот образ “пересказанной Италии” оказался для поэта столь важным, что стал доминировать над его собственными, непосредственными впечатлениями от “увиденной Италии”. Сначала перечисляется то, что было услышано от Жьячинто (Везувий, Колизей..., такие характерные и поражающие воображение “северного” ребенка детали как описание сиесты – «тех пламенных часов, / Что, по твоим словам, со стогнов гонят псов»<sup>10</sup> – и т. п.), но и далее, уже “своими глазами” Баратынский видит именно то, что было воспринято от «дядьки-итальянца», и повторяет “урок” как благодарное воспоминание и как доказательство того, насколько прочно вошла Италия в его собственный мир, ср. примечательное введение этого фрагмента:

А я, я с памятью живых твоих речей  
Увидел роскоши Италии твоей!

Увиденное производит такое впечатление потому, что воплощает и закрепляет “образ”, уже и до этого бывший живым, благодаря свидетельству “из первых рук”, от своего «вожатого». Возможно, Боргезе был родом из Неаполя, и поэтому описание увиденной Италии сосредоточено на «*Неаполе твоём нагорном*»: Баратынский как бы проходит тем путем-маршрутом, который был ему назначен еще “там и тогда”, «*в пределах наших льдистых*», и «*солнечная слава*» Неаполя подтверждает верность затверженного душой “образа Италии”.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> В данном случае мы не касаемся ни источников, ни хронологии его создания, ни многочисленных его воплощений – ко времени Баратынского.

<sup>10</sup> Впрочем, эти строки могут иметь и иное истолкование, связанное с историческими событиями. См.: «Имеются в виду пушки замка св. Эльма, удерживаемого французами; в мирное время залп этих крепостных орудий возвещал о наступлении полудня» (Е. А. Баратынский. *Стихотворения. Поэмы*. Изд. подгот. Л. Г. Фризмап, М. 1983, с. 669).

<sup>11</sup> Комаровский в своем, уже упомянутом здесь, итальянском цикле, использует обратный прием: и он берет готовый “образ Италии”, готовый туристский маршрут, но при этом создает эффект своего собственного

Но и своя Россия дана “в пересказе”: это также “образ России”, увиденной иностранцем, причем уроженцем юга. Образ этот, в свою очередь, настолько клиширован, что, первоначально возникший *ad usum externum*, он становится органическим элементом самоописания в русской модели мира (ср. ощущение себя как северного народа и даже гордость за свой суровый климат – перед иностранцами, независимо от того, из каких краев эти последние происходят: они в восприятии носителя русского менталитета заведомо южане).<sup>12</sup> Россия у Баратынского предстает огромным, простирающимся до «пределов света» пространством, «суровым краем» (слово, в котором тоже заключено понятие предела как чего-то дальнего), «глушью севера», едва ли не зоной вечной мерзлоты, см. выше в описании ландшафта, климата и флоры России (поэта особенно трогает то, что Жьячинто «безропотно сносил морозы наших зим» и, не забывши Италию, «дух предал строгому дыханью наших выюг»). Между тем речь идет о Москве и тамбовской губернии, которые вряд ли могут считаться полюсами холода.<sup>13</sup>

Если Италия в стихотворении – твоя, т. е. хотя и чужая, но все же принадлежащая кому-то близкому и оттого имеющая шансы стать своей (как стал своим для Жьячинто чужой край), то Россия определенно своя/наша, и это постоянно подчеркивается: «наш здравый смысл», «наши зимы», «наш краткий летний жар», «наши слезы и праздники», «церковь наша», «наши выюги», «пределы наши льдистые», «наш полночный аквилон». Иными словами, это автоописание и в то же время автометаописание, т. е. описание себя со стороны, в данном случае с точки зрения иного, но принятой в качестве своей и *ad usum internum*.

---

присутствия: пусть он в толпе туристов и, как и они, не отклоняется от Бедекера, но в этих пределах он видит все сам и по собственному выбору.

<sup>12</sup> Тема “Север в русской литературе” успешно разрабатывается сейчас на славянском отделении groningenского университета, см. прежде всего работы Й. ван Баака и его коллег.

<sup>13</sup> Правда, судя по биографическим сведениям (Песков, *Баратынский...*, ук. соч., с. 58-59), Боргезе начал свою русскую эпопею в Петербурге, который, в свою очередь, является клишированным образом русского севера.

Тем самым в стихотворении обнаруживается по крайней мере два слоя: с одной стороны, оно написано очевидцем (более того, оно строго автобиографично): автор принадлежит России и описывает свои родные места, он побывал в Италии и излагает свои собственные живые впечатления. С другой стороны, это не только и не просто описание увиденного, это своего рода *reported speech*, передающая к тому же некий существующий независимо отлитой “образ” – и России, и Италии. Эта двойственность переводит стихотворение из жанра путевых впечатлений и даже из жанра воспоминаний в иное пространство: туда, где создается *imago loci* со своим *genius*'ом (им здесь и явился Жьячинто), “образ места”, который, как мы видим, сложился уже давно, но который так расцвел в конце прошлого и в начале нашего столетия (Рёскин, Вернон Ли, Патер, уже упоминавшийся здесь Муратов и многие другие).

Акцент на клишированность “образа” уводит в сторону от непосредственного чувства, которым проникнуто стихотворение. Между тем, если Италия и Россия даны “в пересказе” (и отчасти “в готовом виде”), то адресат стихотворения и его главный герой, хотя и вписывается в русский “образ итальянца” (об этом см. специально в другом месте) – недаром возникают «макарончики», – но предстает таким, каким он был и каким запечатлелся в “памяти сердца” его воспитанника. И здесь возникает третий слой стихотворения. Построенное на оппозиции *свой/чужой (твой/наш)*, *северный/южный*, оно (на фоне «*благодати нерусского надзора*») в то же время подчеркивает русско-итальянское сродство, изначальную близость. Это формулируется в первой строфе, причем несколько противоречивым способом (как бы подчеркивающим актуальность оппозиции *свой/чужой*):

Прости наш здравый смысл, прости, мы та из наций,  
 Где брату вашему всех меньше спекуляций [...]  
 Зато воскрес в тебе сей ум, на все пригодный,  
 Твой итальянский ум, и с нашим очень сходный!

Быть может, это внутреннее сродство, “симпатия” (в этимологическом смысле слова) и лежат в основе столь прочной взаимной привязанности<sup>14</sup> и даже сходства в судьбе, как бы обмена судьбой, который уже навсегда закрепил их единство: «итальянский гроб в ограде церкви нашей» – смерть Баратынского в Неаполе, на родине Жьячинто.<sup>15</sup>

Быть может, этим ощущением внутренней близости, “похожести” питается антитеза Италия/Россия, где “образу Италии” отводится роль земного Элизия:<sup>16</sup> стремление из «пределов света» к раю – всегда попытка обретения утерянного, того, что когда-то было своим.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> В уже цитированном письме к Боргезе тринадцатилетний Баратынский особенно настаивает на том, что в их отношениях не должно быть никакой этикетной официальности, потому что они – прежде всего друзья.

<sup>15</sup> И наш аквилон дал обоим то же забвенье и покой, что и итальянский эсфир.

<sup>16</sup> Разумеется, такой “образ Италии” не ограничивается Россией – это, можно сказать, универсальное культурное клише, включающее не только высокий уровень, но и массовую культуру, питающую рядовой туризм.

<sup>17</sup> Приведем еще раз (см. нашу заметку о Комаровском) пассаж из вагиновской *Гарпагониады* о “русской мечте об Италии”:

«– [Анфертьев] Иногда мне хочется уехать в Италию, не в политическую Италию и не в географическую, а в некую умопостигаемую Италию, под ясное не физическое небо и под чудное, одновременно физическое и не физическое солнце [...].»

[Локопову] мучительно было слышать слова Анфертьева. Ведь то, что называл Италией Анфертьев, была страна его сновидений...».